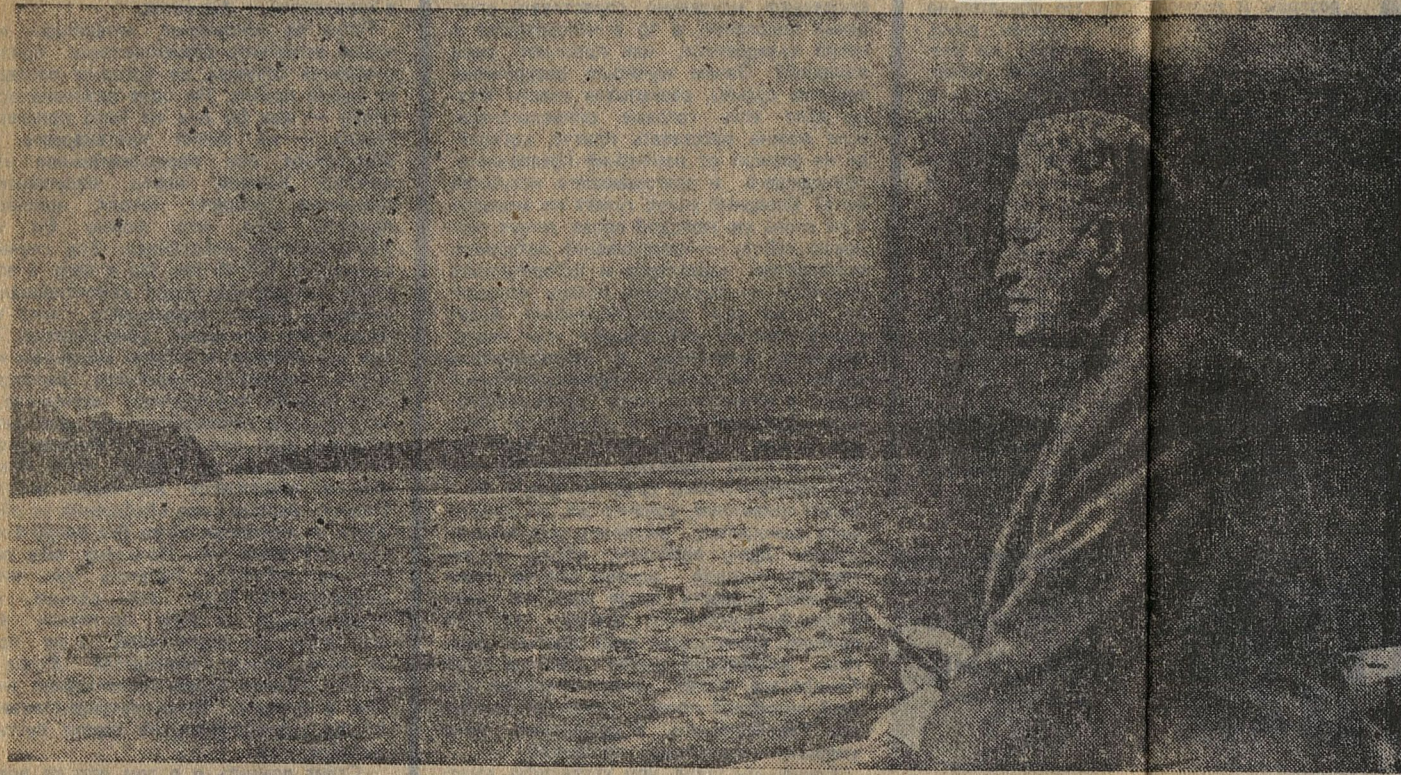




ПЕСНЯ НАД ДОНОМ

СЕГОДНЯ, как часто бывает со мной, снял с полки «Тихий Дон», открыл книгу и стал читать.

Привычная даль за окном, ограниченная грядой черного леса, белые стволы берез на старых межевых делянках, темные от осенних дождей избы деревни — все это, привычное и близкое, потеряло четкие очертания, исчезло, уступив место совсем иному пейзажу. И я помимо желания жил не в своем привычном, но совсем в другом, тоже реальном мире, пронзенном Вечным Светом.

Вот этот свет, как бы исходящий из самой земли, делающий все сущее в том мире четким и до мельчайшей меты ясным, не просто ощущаю, но осязаю, стоит только открыть книгу.

Я не помню, когда это произошло, но, вероятнее всего, с первым прочтением первой фразы романа.

И давно... В селе моего детства дом наш, вернее, семья, поскольку дома своего у отца не было и мы жили в незнакомой квартире, считалась читающей — книжной. Сколько помню себя, столько помню и когда-то очень громадный, а теперь весьма скромный в размерах книжный шкаф с двумя стеклянными дверцами.

Не знаю, каким образом собиралась родителями библиотека, чей вкус влиял на подбор книг, но было в ней все, что по сей день составляет для меня литературу. Читать я начал рано, самостоятельно выучившись складывать буквы. Вероятно, потому, что любил смотреть в книгу, когда мне читали ее мама, отец или старшая сестра.

Помню отчетливо тот самый момент, когда, оставшись один в комнате, осторожно, на цыпочках (мама строго запрещала брать самому книги) подошел к шкафу и растворил стеклянные дверцы.

Косаясь на дверь, за которой мама на большом кухонном столе раскатывала тесто и лепила пироги, я вытянул с полки книгу. Раскрыв, сел на пол, все еще сторожась, что вот-вот обнаружится мое своеволие.

То, что произошло потом, запомнилось как никогда уже не повторимое счастье.

Все вокруг зазвенело, заиграло чистым звуком, заплескало почему-то на потолке солнечные зайчики, и что-то еще свершилось праздничное, чего я не мог понять.

Мама хотела рассердиться, когда я вошел в кухню.

— Мама, я тебе почитаю. Хочешь?

Раскрытая книга была в моих руках, но я напрочь забыл о запрещении самому брать книги.

Мама локтем отбросила прядку волос: руки у нее были в муке, сказала, все еще хмуря брови, но так и не рассердившись:

— Хочу. Почитай...

«Читай!» я свои книжки наизусть, подражая сестре, водя пальцем по строчкам, и повышал голос при начале фразы.

Я не помню текста, но встретилось во фразе странное, впервые познанное мной слово — «землюшка». Прочитал я его как «землюшка», сделав ударение на «ю».

— Что-то? — переспросила мама.

И я, низко наклоняясь над книгой и тыча в нее пальцем, прочитал еще одну фразу, где снова было то слово.

Мама вытерла руки о передник, взяла у меня книжку, раскрыла ее наугад и, указав пальцем на строчку, сказала:

— Читай!

И я прочел.

Хорошо знаю, что книга эта была «Тихий Дон». Поскольку об этом часто вспоминали у нас в семье, рассказывая, как я необычно научился читать.

И вот нынче, прочитав страничку, я долго глядел в окно, не воспринимая ни обычной дали, ограниченной грядкой черного леса, ни белых берез на старых межевых делянках, ни черных под осенним дождем изб деревни...

Все еще находясь в том удивительно реальном мире, пронзенном Вечным Светом, я вдруг увидел ту самую впервые прочитанную мной строчку, которую тщетно искал в романе при каждой встрече с ним:

Не сохами-то славная землюшка наша распахана.

А вот и вторая:

Распахана наша землюшка лошадиными попытами.

Как же так? Столько раз перечитывал «Тихий Дон», но ни разу не обратил внимания на это.

Ведь для чего-то потребовалось Шолохову предварить роман:

Не сохами-то славная наша землюшка распахана... Распахана наша землюшка лошадиными попытами. А засеяна славная землюшка казачскими головами. Урожен-то наш тихий Дон молодыми вдовами. Цветен наш батюшка тихий Дон сиротами. Наполнена волна в тихом Дону отцовскими, материнскими слезами.

Сделалось жарко, а потом долгой щемящей болью охватило душу. От этой трижды повторенной «землюшки», от этого слова, от набатного, трижды повторенного «Дон», от этих поставленных поперек материнских отцовских слез.

ЭТЮДЫ О ПИСАТЕЛЯХ

А дальше ударил в каждой строке вечерней казачий колокол. Дон — Дон — Дону — Дона — Дона: Ой ты, наш батюшка, тихий Дон! Ой, что же ты, тихий Дон, мутнехонен течешь? Ах, как мне, тиху Дону, не мутну течи! Со дна меня, тиха Дона, студены илючи бьют, Посередь меня, тиха Дона, беда рыбеца мутит.

Тревога вошла в сердце, озабоченность и сострадание...

Не могу унять волнения, не могу понять, почему волнуясь, почему мутит глаза слезами. Но уже опять восстает из той самой землюшки Вечный Свет.

Только однажды увидел я еще раз мир, пронзенный этим Светом, — в подлиннике Леонардо да Винчи.

Я снова и снова перечитываю предварение романа, ощущая в себе прикосновение к Тайне.

Что руководило Великим Мастером, когда перед зачином третьей книги снова возникает старинная казачья песня? Но так разительно отличающаяся от первых и звукописью, и ритмом, словно бы сам Дон, алившись в тот мир, разделил его на два берега. И течет эта река Жизни, подчиненная широкому и полноводному движению:

Как ты, батюшка, славный тихий Дон, Ты кормилец наш, Дон Исанозич, Про тебя лежит слава добрая, Слава добрая, речь хороша, Как, бывало, ты все быстер бежишь, Ты быстер бежишь, все чистехонек, А теперь ты Дон, все мутен течешь, Помутился весь слезу донизу. Речь возговорит славный тихий Дон: «Уж кан то мне все мутну не быть, Распустил я своих ясных соколов, Ясных соколов — донских казаков. Размываются без них мои круты бережки, Высыпаются без них косы желтым песком».

Я никогда не слышал этой песни в исполнении. Хотя в свое время посчастливилось слушать казачьи хоры. А тут вдруг песня эта прозвучала вняе, да так хорошо, словно пели ее за нашим деревенским пашенным холмом...

Пели казаки. На том берегу и на этом. Пели одну песню:

Как ты, батюшка, славный тихий Дон...

Удивительно соразмерен роман в четырех своих книгах. Удивительная, почти неправдоподобная организация. Первые две книги между собой разнятся всего несколькими страницами. Другие две — всего десятками страниц.

Громадная, неохватная эпопея — как строфа русского стиха — четверостишие.

Снова охватывает меня волнение, снова сжимает больно сердце, и комок, подкатывая к самому горлу, не дает рыдать.

«Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще родило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром».

Как же я раньше не заметил этой удивительной поэтической организованности романа?

БЫЛО это в Вешенской. Стремительной походкой вошел он в небольшой конференц-зал районного комитета партии.

В то утро мы долго ждали его прихода, поглядывая на чуть приоткрытые двери, но появился он неожиданно.

Мне показалось, что тот переполненный зал, как и я, расступаясь, не зная, как реагировать на столь неожиданное, словно бы ничем не предупрежденное появление. Выручили аплодисменты. И Шолохов, стоя перед нами в непривычном для его фигуры гражданском костюме, тоже поаплодировал нам и жестом поприветствовал. Восторженный шум был неприятен ему, и он чуть даже поморщился. И это было так естественно, так нескрываяемо, что неистовое рукоплескание разом стихло.

В наступившей тишине тихий голос его с той самой хрипотцой произвучал необыкновенно ясно, словно бы усиленный невидимой радиоаппаратурой. Первые его слова были неожиданны.

— Дорогие свои! — сказал Шолохов и на мгновение задумался. Потом, не меняя тембра, чуть глуховато, но доходчиво, а точнее, просто доверительно, объяснил, почему так обратился к нам — молодым писателям.

До сих пор не знаю, был ли это шолоховское слово записано тогда, было ли оно опубликовано, но простота речи, удивительная произнесенность ошарашили меня. Я ждал от гениального писателя каких-то необычных слов, сложнейших суждений, не познанных еще никем откровений. А он говорил о будничных, казалось, само собою разумеющихся вещах: о народном языке и народной жизни, о земле и видах на урожай, о песне и музыке, о скороспелых подделках тщеславного разума, спешащего выдать эти подделки за подлинное искусство. Он постоянно сам себя

прерывал неожиданной шуткой, порою, как казалось мне тогда, недопустимо простецкой.

Все, что говорил Шолохов, было словно бы уже не раз слышанным и даже чуточку набившим оскомину.

Но что удивительно: речь его, далеко не гладкая, построенная целиком на экспромте, несколько даже шутейная, произнесенная вроде бы по обязанности, рождала неосознанное еще желание думать. И думать и раздумывать не над какими-то там самыми отвлеченными понятиями и мудрейшими сочетаниями, но над самыми простейшими, самыми «незначительными» истинами.

И была в его речи — это я осознал позднее — глубокая не-досказанность, предполагающая равного себе собеседника. Загадочность была. Та самая, что и составляла из века тайну русской народной души. Не одного, не двух и даже не множества, а всего народа.

Народ видит, народ знает, народ говорит даже тогда, когда безмолствует.

Под силу ли было нам, молодым литераторам, определить ту самую глубину, которая была скрыта за этой простой речью? Думаю, что нет. Он земной, и такой земной, что все происходящее во времени, весь наш великий и трагичный век, все беды и боли, равно как радости, удивительнейшим образом все, все до единого, обитали в нем, в его взгляде, в его усмешке и в том просверке надежды, который неожиданно возникал, когда взгляд его просматривал тебя до доньшка.

Вспыхивали блицы, щелкали затворы фотоаппаратов, вокруг вились и суеились десятки людей, но все равно вокруг него даже при самом тесном общении («Разрешите, Михаил Александрович, сняться с вами на память») существовал некий круг, некая ничейная полоса, за которой был только он и никого более.

Он окончил свою речь неожиданным предложением съездить к Дону. Вереница наших машин и автобусов стремительно поминалась по степи. Впереди открытый «газик», за рулем Юрий Гагарин, и рядом Шолохов. Солнце, высокая пыль, уже полинявшие травы, ветер срывает дыхание, горьковатый привкус на губах и стремительный, все убиравшийся бег машин, словно на скачках.

«Газик» остановился на крутом берегу Дона. Гагарин, поставив машину на тормоза, с ходу легко выпрыгнул на землю, хотел вроде бы помочь Шолохову выйти из машины, распахнуть дверцу, но не успел. Михаил Александрович уже шел навстречу к нему, шутил и улыбался. И тут же мы окружили его, стало тесно, сделалась какая-то толчея. Шолохов что-то говорил, но ничего нельзя было понять, стрекотали кинокамеры, гудело и шумело многолюдье, ревели рядом моторы разворачивающихся машин и автобусов.

А потом все вдруг стихло, никто не просил тишины, никто не одергивал друг друга, просто вдруг стало тихо. И плотная человеческая масса, облепившая Шолохова, сначала поддалась за ним к крутому обрыву над Доном, а потом вдруг, без чьей-либо команды, отхлынула прочь. И Шолохов остался один. Он стоял, отстранившись от всего, застывший вдруг какой-то мыслью. У ног его низвергался рыже-красный ерик, за спиною сабельным широким просверком лежал Дон в могучей пойме, а вокруг, изрубленная балками и рывтинами, лежала степь, вознося над собой пронзительно безразличное, добела раскаленное небо.

Так он стоял, отстраненный от суетной толпы, рядом с Доном, вознесенный степью и небом совершенно в другое измерение, нежели то, в котором продолжали находиться мы.

Вспоминая те дни, я прежде всего встречаюсь с глазами Шолохова, с его стремительным, но внимательным взглядом. Он наблюдал нас, каждого из той пестрой компании, которую поспешно отбавлял для встречи в Вешках.

Тут был и Василий Белов, и Феликс Чуев, и Геннадий Машкин, и Гайдар Немченко, и Ференц Барани из Венгрии, Роман Самсель из Польши, и инкогнито поэта из одной освобождающейся, но еще не свободной страны, и многие, многие другие, кто уже создал или собирался создать для себя нечто нетленное. Ко всем без исключения приглядывался Шолохов, словно бы искал в нас что-то и не находил.

Он глядел на Белова, и Василий, только что отпустивший бороду, конфузясь и робея, вдруг спросил:

— Михаил Александрович, а вас не шокирует моя борода?

И стремительный ответ:

— А вас — мои усы?

И рука на плече у Белова, а вокруг уже один, другой, третий, и что-то говорит Шолохов, и что-то отвечает Белов.

И опять этот взгляд с затеанной непроходимой болью, с надеждой высвечивает, как рентген, наши души.

Что у вас там с исподу души?

И снова мы на берегу тихого Дона. Тут он широк и величав, могучие ракиты стоят на задеревеневшем песке, глубокие омуты и тихие теплые плесы с шафраново-нежным песком и громадными раковинами беззубок.

По давнему обычаю мы обедаем на траве в тени деревьев.

Говорит об умирающих реках, о гибнущей рыбе... О пашенных клнях, о тракторах и земле, о хлебе.

Тогда это казалось мелким, недостойным его гения, и никто еще даже не заикался о тех самых экологических проблемах, которые нынче стали главными в мире.

Он их слышал тогда, упорно говорил о них. Даже с трибуны съезда, распекая министра Ишкова и вызывая на себя огонь литературных снобов: «Нашел о чем говорить! Тоже — проблематика!»

Как часто история говорила языком гениев, предупреждая грядущее! И как безразличны были к этому Слово современники! Вот и мы...

Дорогие свои, что же вы?

А потом был хутор Кружильинский. Его родина. Школа, которую выстроил на Ленинскую премию. Его малая родина. Хата. Порог. Дорога.

Это был третий день встречи в Вешенской.

Перед этим мы все были в его доме. Сидели в обыкновенной казачьей зале, фотографировались на порогах удобного простого жилища.

И я, глупей от неповторимости и значения мгновения, говорил от лица моих товарищей. Было в том моем лепете что-то о писателях, как о саперах, которые не имеют права на ошибку. И было что-то патетическое: «Вы, Михаил Александрович, никогда не ошибались».

Он усмехнулся в усы, по-обыкновенно своему вмельк поглядел в лицо и просто сказал:

— Я-то! Я ошибался, и много...

Рядом с ним сидела его жена — он, почти любовно склонившись к ней, словно ища поддержки, повторил:

— Ох-ох! Сколько я ошибался...

Во все дни Шолохов был сдержан, собран, в нем непрестанно происходила внутренняя работа. И это многие из нас чувствовали, об этом говорили между собой.

В Кружильинском Шолохов неожиданно изменился. В застолье был по-казачьи весел. Сам вел стол. Много и остроумно говорил. Шутейно, но с явной серьезностью посвящал некоторых из нас в казаки. Смелся и желал добра.

Потом пришли кружильинцы, старые казаки и молодежь, мы потеснились в застолье. Пришел баянист с баяном, и грянули казачьи песни.

Шолохов пел и дирижировал нашим старательным хором. И тогда я узнал: у него чуткое музыкальное ухо, мгновенно улавливающее любую самую малую фальшь в хоре.

И это был урок истинной любви и преданности настоящей народной песне... Без которой нельзя жить.

Юрий СБИТНЕВ

Фото Н. КОЗЛОВСКОГО